

Л.Е. БУШКАНЕЦ

Чехов – писатель русского Апокалипсиса?

Творчество каждого писателя – это и чуткая реакция на свою эпоху, диалог с ожиданиями и системой ценностей читателя-современника.

Однако историческая социальная психология русского общества – пока еще малоизученная проблема. Ю. Боров писал: “Жизнь общества, духовная и эстетическая ориентация различных его слоев составляют неотъемлемую черту литературного процесса, ту невидимую часть айсберга, которая держит на поверхности видимую и определяет движение целого. Существование этой подводной части объясняет нам, почему литературный процесс нельзя свести ни к истории литературных течений, ни к судьбам отдельных писателей. Каждая эпоха обладает еще своей особой системой ценностей. ... Эта область оказывается вне внимания исследователей не случайно: законы духовной и общественной жизни эпохи относятся к числу неписанных, и их реконструкция требует существенных усилий... Особенно важное значение постижение этих неписанных законов приобретает для переходных эпох, отмеченных интенсивной перестройкой системы ценностей” [Боров, 2001, с. 53–54].

Такой переходной эпохой в России был рубеж XIX–XX вв. Среди читателей 1890–1900-х гг. А. Чехов пользовался огромной популярностью. Споря с распространенными (до сих пор) представлениями о том, что Чехов не был должным образом оценен, критик и современник писателя А. Скабичевский отмечал: “Среди массы жалких слов, которыми так богата наша интеллигенция, существует гласящее, что у нас не дорожат талантливыми людьми ... и лишь когда сходят в безвременные могилы, мы точно спохватываемся: начинаем сыпать цветы и венки на их прах и произносим хвалебные славословия на их похоронах и некрологах... Но, несмотря на всю популярность, доходившую до оваций при появлении Чехова в публичных местах, и он, как только почил вечным сном, не избег скорбных сетований со стороны наших сердобольных плакальщиков. Оказалось, что и издатели его эксплуатировали, и злые критики терзали, не только не оценивая по его заслугам, но относясь к нему с обидным пренебрежением...” [Скабичевский, 1905, с. 29–30].

Действительно, таких чувств не вызвали, несмотря на огромную известность и уважение в разных слоях русского общества, ни Л. Толстой с его драматическими поисками, кризисами и “уходами”, ни М. Горький, постоянно попадавший на страницы скандальной политической газетной хроники. После И. Тургенева ни один русский писатель не был в такой интимной связи с читателем, как Чехов, – утверждал один из провинциальных критиков в 1914 г. [Поэт... 1914]. Модная писательница А. Вербицкая прямо заявила: “Помимо всякой критики сами читатели признали Чехова и меня” [Провинциальный... 1911, с. 70]. Одно только появление Чехова на улице собирало толпу поклонников и поклонниц. После его смерти в дни “чеховских дат” (1904, 1909,

1910, 1914 гг.) все остальные события в газетах и журналах отступали на второй план. В чем же причины такой славы?

Современная Чехову критика всегда пыталась найти у него какие-нибудь определенные, ясно выраженные идеалы. В 1880 – начале 1890-х гг. Чехову предъявляли претензии в отсутствии социальных программ, к концу 1890–1900-х его больше стали упрекать в невыработанности “философского мирозерцания”. Однако “читательская” слава Чехова началась уже в конце 1880-х гг. Рассказы его обладали необъяснимой для многих особенностью: они вызывали учителя потрясение, преодолевавшее все предубеждения, в том числе и сформированные критикой: они **завораживали**. И это мирозерцание писателя стало причиной читательского поклонения Чехову. По мнению одного из провинциальных читателей, Л. Толстой стоял в отдалении от любящей и страдающей людской массы, жил на высоте, особняком, до него трудно было подняться обыкновенному человеку, чтобы поделиться с ним своими будничными горестями и радостями. Чехов же переживал все настроения современного ему мыслящего общества, старался объяснить читателю его собственную жизнь, вскрыл тайники обывательской интеллигентской души, он “выразил нас” [Поэт... 1914].

Как отмечал Д. Философов, размышления о Чехове оказались связаны с размышлениями о судьбах русской литературы и общества в целом: “Если еще недавно споры вокруг Чехова казались нам чисто литературными, то к началу XX в. общество стало понимать их символическое значение, спор шел не о литературе, а о жизни, поскольку в отношении к Чехову проявилась индивидуальная и коллективная психология русского общества” [Философов, 1910].

Восстановить “массовую психологию” русской интеллигенции начала XX в. помогают не только критические статьи о писателе (многие из них хорошо известны, перепечатаны, изучены), но и гораздо менее известные материалы: публицистика того времени, письма читателей к Чехову и в редакции газет, посвященные ему многочисленные стихотворения, телеграммы и надписи на венках как реакция на смерть писателя, некрологи¹ и т.п. Критик М. Яблоновский в 1904 г. в связи с реакцией общества на смерть Чехова отмечал необычное для русской жизни явление: “читатель заговорил” [Яблоновский, 1904].

Некоторые чеховские современники считали созданный им образ России слишком мрачным. Так, критик А. Басаргин писал по поводу пьесы “Три сестры”: «Но скажут: “Это жизненная правда!” – нет, ложь, карикатура на жизнь» [Басаргин, 1901]. Конечно, сфера оценок – сфера субъективная. Но и такой авторитетный автор, как крупнейший литературовед начала XX в. Д. Овсяннико-Куликовский, размышляя о правдивости нарисованной Чеховым картины русской жизни, утверждал, что будущий историк “откажется от мысли изучать” по его произведениям “нашу жизнь во всей ее полноте и во всем разнообразии ее часто противоречивых черт” [Овсяннико-Куликовский, 1899]. Чехов, действительно, вопреки странно закрепившемуся штампу, не “бытописатель русской жизни” – в его произведениях возникает отнюдь не вся русская жизнь, далеко не полная и не всегда правдивая в деталях. Но, как писал Л. Оболенский, Чехов, не будучи бытописателем русской жизни, стал “отразителем” русского душевного и морального разложения: «Да, *душевного и морального*, так как разложение *общественное* – в широком смысле этого слова – мало интересует Чехова (по крайней мере, в его художественных произведениях). Он нигде не рисует нам тех или других русских учреждений; нигде вы не увидите у него ясно подчеркнутой связи между моральным

¹ Что касается телеграмм читателей в связи со смертью Чехова и надписей на венках, то их содержание представлено в многочисленных материалах июля 1904 г. в газетах “Русские ведомости”, “Русское слово”, в журнале “Русское богатство”. Почти все столичные и провинциальные газеты откликнулись на смерть Чехова некрологами – их несколько десятков. Имя Чехова возникает не только в литературно-критических, но и в публицистических статьях, посвященных анализу, как говорили в начале XX в., “нашей текущей жизни”. В общей сложности речь идет о тысячах публикаций (потому они вполне репрезентативно представляют настроения эпохи), из которых в данной статье я обратилась только к самым типичным. Письма читателей к Чехову как социокультурное явление также практически не изучено.

разложением и существующим состоянием собственно “общественных” так называемых “форм”» [Оболенский, 1903, с. 42]. И разложение происходит в стране несмотря на то, что, по словам того же Оболенского, в России бурно развивалась промышленность, и вообще страна растет “безмерно” с 1860-х гг. в умственном и общественном отношении.

Свойственно ли России чеховского времени состояние такого “душевного и морального разложения”? Читатель соглашался с точкой зрения Чехова и без малейших сомнений ставил между ним и настроениями его героев знак равенства, благодарный писателю за то, что тот “нас понял”, утешил и стал “нашим самооправданием” [Поэт... 1914].

Характеризуя свое время, один из чеховских читателей писал в 1904 г.: “Так жить нельзя, – говорят русские люди. А значит, нужно жить иначе. Но как именно иначе жить, они не знают, ибо не знают, зачем жить. Иная жизнь рисуется перед ними лишь в общих, неопределенных очертаниях...” [Малиновский, 1906, с. 244].

Русская интеллигенция определяла свое время как “больное”². И причина тому – не недостатки отдельных чиновников; поэтому не помогут ни частные меры по исправлению нравов, на которые в свое время уповал Н. Гоголь в “Выбранных местах из переписки с друзьями”, ни индивидуальное нравственное самосовершенствование, на которое надеялся Толстой, ни “христианский социализм” Ф. Достоевского. “Беспокойные русские люди, недовольные действительностью, стараются выяснить, почему, в силу каких причин жизнь сложилась так, а не иначе? Этот вопрос – почему? – задают многие русские люди, изображенные Чеховым и в ранних, и в более поздних его произведениях... Ответа нет, а мучительный вопрос не покидает человека, ибо человеческие отношения так осложнились, сделались до такой степени непонятны, что жизнь представляется какой-то странной загадкой”, – писал чеховский современник [Малиновский, 1906 с. 246]. А причины – в неких силах, которые стоят над человеком. Это ощущение в смутных символических образах попытался передать критик Г. Чулков: “Мы вышли из мира определенностей, точных слов и незбылемых понятий, мы ужаснулись призрачности реального и, взволнованные, стали на распутье, прислушиваясь к таинственному шороху чьих-то огромных крыльев...”, хаос еще царит на земле, познать его ужас в языке таинственных диссонансов – “вот *необходимая* ступень, которую пройти должны люди. Чехов достиг этой ступени... Нельзя, чтобы публика прошла мимо Чехова, как говорит Антон Крайний, чертово болото не в душе Чехова, а в тех душах, которые не доросли до Чехова и не чувствуют рокового разлада. А.П. Чехов, может быть, полусознательно, но осязает уже своим талантом страшные колебания, глухую тревогу и бессмысленный топот жизни. Стучат костяшками скелеты. Рождаются крики из тьмы... Текут ненужные слезы. Пошлость перерождает себя” [Чулков, 1904, с. 267–268].

Читатель Чехова – разночинный интеллигент. Каким он был, чего ждал от литературы, что характерно для социальной психологии среднего интеллигента рубежа веков? И почему мир кажется ему таким страшным?

В психологии разночинной интеллигенции, начиная с 1880-х гг., происходили большие перемены. Между тем по сравнению с 1860–1870-ми гг. практически все исследования социальной психологии разночинца построены на материале 1860-х гг. [Вердеревская, 1996; Лейкина-Свирская, 1971; Печерская, 1999], а по тому многие важные для понимания литературы чеховского времени особенности мировосприятия разночинного интеллигента (предмета исследования в литературе и основного в то время ее читателя) остаются непонятными современному исследователю.

Правда, еще в 1860-е гг. (и даже ранее) в психологии этой группы людей, наряду с идеалом общественной активности, личной ответственности и пр., появилось соедине-

² Распространение метафоры “Серебряный век” привело к тому, что в современном массовом сознании начало XX в. воспринимается прежде всего как время взлета в культуре, что существенно упрощает ситуацию.

ние таких противоречивых черт, как опора на позитивизм, разум, антропологические ценности, утилитаризм, критичность, с одной стороны, и утопичность мышления, религиозные искания, поиск идеала, ощущение оторванности от социальных корней – с другой. Разночинец вынужден был уделять особое внимание материальной стороне существования. В письмах В. Белинского, дневниках Н. Чернышевского обыденное и низкое в жизни становились предметом осмысления (например, деньги) и “узаконенными фактами культуры” [Паперно, 1996, с. 11, 42]. Разночинцы ютились “по углам”, знали, что такое бедность и постоянная угроза голода. Пробелы в образовании, хронические болезни, недостаток раскованности и светского лоска препятствовали сближению с другими людьми, вызывали стремление соблюсти собственное достоинство. Разночинец чрезвычайно амбициозен и горд, но одновременно – застенчив, замкнут, одинок и робок – так проявлялось глубоко затаенное и болезненное чувство социальной неполноценности [Корман, 1978, с. 127–129]. Весь этот сложный набор мотивов и даже комплексов существенно усложнился в годы формирования Чехова как личности и писателя.

До сих пор чеховские настроения часто связывают с общественно-политической атмосферой 1880-х гг., – убийством царя, распространением народнической идеологии, гонением властей на оппозиционные движения... Но у Чехова мы нигде не найдем интереса к такому важному событию, как 1 марта 1881 г.! Он был гораздо более чуток к другому – к тем изменениям в психологии человека, которые порождены всей совокупностью исторических причин, но особенно – социально-экономическими, хотя сам человек этого пока еще не осознавал, только смутно “ощущал”.

“Чеховская тоска рисуется обычно как следствие 80-х годов, его упрекают в том, что он не указал выхода из болота и тех, кто этот выход уже нашел, то есть не дал подлинного героя – но его тоска не укладывается в рамку политических и социальных вопросов, главное – человеческая личность, и к ней он подходил не с помощью партийной энциклопедии, а с прямою и ответственностью, у него нет ненависти, а есть жалость и грусть, он ничего не замалчивал и не преувеличивал. В нашем обществе много ненависти и озлобления друг к другу, это заколдованный круг пошлости и ничтожества, но если общество в целом жалкий муравейник, то отдельная человеческая личность все же таит в себе стремление к прекрасному, чистое и бескорыстное, хотя это стремление часто туманно и не находит себе применения... Лишним людям всегда страшно и скучно, тонкое кружево их мечты рвется от соприкосновения с действительностью. Они бездейтельны, труд не спасает их, он механистичен и обезличивает их. В нынешней своей форме труд не приносит радостей. Лишние люди не оказывают сопротивления жизни, это неосуществимо” [Новикова, 1910, с. 156–157].

Действительно, 1880-е гг. – не самые трагичные для России. Не было тяжелых войн, быстро развивалась экономика и пр. Но реформы 1860-х г. среди неожиданных и непредсказуемых для русской интеллигенции результатов привели к появлению массовой культуры и массового человека. Из-за бурно развивающегося капиталистического рынка человек превращается в придаток работы, стремится к получению выгоды в кратчайшие сроки. Появился культ денег, исчезли лояльность, солидарность, осмысленное отношение к делу, возникло ощущение ненужности, бесполезности, невозможность выработать самооценку благодаря приобщенности к чему-то важному и значимому для общества. Человек неожиданно оказался в ситуации крайней нестабильности: потеря чувства семьи, дома привела к росту изоляции, утрате доверия, ценностных привязанностей, ослаблению взаимодействия частной и общественной жизни. И все больше люди становятся чуждыми обществу. В этой ситуации каждый представитель разночинной интеллигенции – одновременно и средний представитель массы с его эгоцентризмом, неспособностью самостоятельно мыслить, и жертва состояния общества, страдающая из-за потери ценностей и смысла жизни. Как узнаваемо все, что происходило с чеховскими современниками для современного интеллигентного читателя!

Причины и сущность “недуга”, которым болел век, трудно распознать самим больным. Но вслед за Чеховым интеллигенция определила его признаки. Многие литературоведы обращались к проблеме “страха перед жизнью” в творчестве Чехова. Однако нельзя забывать, что это не только одна из проблем его творчества как такового, но и исторически конкретная черта психологии интеллигенции его времени. Другие свойства – тоска, апатия, отчаяние, безволие, пассивность, ужас одиночества, ощущение бессмысленности и пустоты жизни, мечтательность, чувство бессилия. Эти настроения ярко отразились в своеобразном круге источников – стихотворениях о Чехове. С художественной точки зрения они достаточно слабы, но зато эта “стихотворная беллетристика” помогает сейчас почувствовать атмосферу той эпохи:

*Больная родина в тоске изнемогла
И лучших дней с тревогой не ждала:
Померкнувший светильник идеала
Она зажечь в бессилье не могла* (Зинаида Ц.) [Чеховский... 1910, с. 32].

Многим представителям демократической интеллигенции было свойственно прежде всего жуткое чувство абсолютного одиночества. “Новейшей болезнью, характерной для современного общества, является болезнь одиночества... тысячи и десятки тысяч людей с одинаковыми убеждениями и взглядами на жизнь, с почти одинаковыми привычками и стремлениями, чувствуют себя, тем не менее, ни с кем не связанными, одинокими, без близких и знакомых”, – писал в 1909 г. Г. Гордон, размышляя о всплеске самоубийств. Он указывал на причины этого явления: одиночество создается горем и страданиями, человек замыкается в узком мирке своих переживаний, мир становится для него чуждым, посторонним. Не случайно автор указывал, что одинокие люди острее всего чувствуют свое одиночество в толпе, и опирался при этом как на документы эпохи (письма современников), так и на произведения Чехова: «“Чем больше вокруг меня людей, тем более я одинока”, – говорит одна из “трех сестер” Чехова, “Я больше всего одинока среди людей, – пишет одна несчастная, окончившая свою жизнь самоубийством. – Когда я одна, воображение охватывает меня и делает близкими тех, кто так далек”». В современном человеке Гордон увидел отсутствие жизненной духовной энергии, необходимой для слияния с жизнью, бушующей вокруг него, – идет обезволение человека [Гордон, 1909, стлб. 85–89].

Такого рода неясные ситуации в культуре часто осмысляются через мифологические или библейские образы. Русская интеллигенция второй половины XIX в. хотя и была, в основном, атеистичной, но библейские сюжеты, образы и мотивы “впитывались” вместе с воспитанием и образованием и становились, по выражению И. Крамского, “иероглифическим языком”. Современная жизнь осмыслялась русскими читателями Чехова в условных и абстрактных образах ада и грядущего Апокалипсиса: как мрак, мучение, “нищета ума”, “скука жизни”. Возник образ сумерек и “роковой ночи” как мифологического времени, времени смерти:

*Тогда цветы на стеблях увядали.
И свет погас. И не лучились дали.
И зрячие не видели дорог...
И ты пришел во тьму глухого леса, –
Недвижных туч над ним была завеса...* (М. Пустынин) [На памятник... 1906, с. 70].

Именно это мироощущение и получило в прижизненной Чехову критике название “чеховщина”. Массовый читатель без малейших сомнений ставил между Чеховым и “чеховщиной” знак равенства и был благодарен писателю, что тот “воспел” его, читателя, состояящего. Чехов “угадал наши страдания”, “нас, слабых и безвольных, но страдающих, не презирал”, но, “как музыка”, разделил нашу тоску, утешил и стал “нашим самооправданием”:

*Страдая, жизнь не ненавидел,
Жалея всех людей, он их не презирал* (А. Федоров) [На памятник... 1906, с. 81].

Живший вместе “с нами” в сумерках отчаяния Чехов был воспринят как Страдалец, обладающий даром всеведения, и главное, не борец, а “печальник”:

*Ты любил ее робко – эту жизнь многоцветную,
Без надежды пред ней ты молился в тиши,
Без рыданья принес ты ей грусть беззаветную
Стыдливо прекрасной души* (К. Чуковский) [На памятник... 1906, с. 74].

Именно поэтому Чехов оказался писателем-другом, а не “учителем” (как Л. Толстой), не “идеологом” (как Ф. Достоевский):

*Наш друг, наш старший брат, внимательный и нежный,
Душой созвучною на все ты отвечал...
Не строгую мораль, не грозные уроки
Читали мы в твоих созданиях мечты* (С. Якимов) [На памятник... 1906, с. 79].

Особенно ярко все эти черты проявлялись в провинции, где остро чувствовалась атмосфера захолустья, где еще острее и мучительнее были чувства одиночества, тоски, стремление вырваться из мира-тюрьмы. И как следствие – в провинции было больше всего “чехистов” и “чехисток”.

Не просто чеховский читатель, но страстный его поклонник, Б. Лазаревский размышлял о современности и подводил итог: “Туманная и страшная действительность, беспросветная серость и тоска повседневности, жуткое, кошмарное близкое прошлое – все это гнетет безмерно...” [Лазаревский, 1909, с. 105]. Тот же мотив ощущался и во многих мемуарах, в частности у А. Куприна: “Как часто, должно быть, думал он о будущем счастья человечества, когда по утрам, один, молчаливо подрезывал свои розы, еще влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег... Это была тоска *исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдающей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости – от всего ужаса и темноты современных будней*” (курсив мой. – Л.Б.) [Куприн, 1986, с. 509]. Показательны с точки зрения переживаемого чеховскими современниками состояния общества и надписи на венках и телеграммы, которые присылали в редакции газет в июле 1904 г. читатели Чехова: “В ярких образах рисовал он пошлость жизни, призывая своими творениями осмыслить жизнь, внести в нее новое содержание, создать в ней такие условия, при которых личность могла бы жить свободно и всесторонне полно, а человеческие отношения не опошлялись бы, не принимали мелочных и уродливых форм” (от тульской молодежи); “Умер Чехов! Умер великий художник, писатель-друг, товарищ-врач. Всю жизнь беспощадно клеймил он торжество пошлости, неправду и уродство нашей будничной жизни в правдивых образах и картинах” (от врачей московского уездного земства) [Русские... 1904].

“Этот-то период неврастенической расслабленности русского общества и нашел в Чехове своего историка. Именно историка – что очень важно для понимания Чехова”, – писал литературовед С. Венгеров [Венгеров, 1903, стлб. 1370–1372]. Критик К. Медведский отмечал: “Г. Чехов пленил своих читателей не силой таланта и не оригинальностью, а тем, что удивительно пришелся по плечу интеллигентной толпе” [Медведский, 1897].

Практически каждое явление существует в культуре одновременно и на высоком, и на бытовом, массовом уровне. Так, на фоне “высокого романтизма” рождается и поддерживается условиями русского быта “бытовой романтизм” 1820–1840-х гг. Условия жизни и быта демократической интеллигенции 1880–1900-х гг. формировали иное мироощущение, которое можно условно назвать “бытовым экзистенциализмом”. Это было связано с утратой того, что поддерживало человека в предыдущие десятилетия (наличие одной или нескольких, но ведущих, политических идеологий, “обеспечивающих” ощущение смысла деятельности, зависимость от быта, весьма низкого жалования, несовместимого с представлением интеллигента о своей роли в России и пр.).

Эти настроения, еще смутно осознаваемые, предвосхищали рождение XX в., трудного для человека одновременно и своими трагическими потрясениями, и одно-

образом повседневного существования. Все это ощутил и воплотил нарождающийся модернизм. Впрочем, читателей у символистов, акмеистов, футуристов и пр. было не так уж и много. Усложненность формы, театрализация и неестественность литературного и бытового поведения, индивидуализм оказались чужды массе интеллигенции, нуждавшейся в “своем”, все понимающем писателе. Таким “писателем-другом” и стал Чехов.

Осознание того, что культурная ситуация меняется, отражаясь прежде всего на психологии современников, пришло к Чехову в начале 1880-х гг. Крушение культурных ценностей, абсурдность поведения поглупевшего человека – все это мы читаем в цикле его фельетонов “Осколки московской жизни”. Так, в фельетоне от 22 декабря 1884 г. Чехов писал: «Лавры Семеновы не дают спать и в Москве. Психопаты плодятся, как спириты или кефирные грибки. Не так давно в Сушевскую часть явился молодой французик Николя Морес и заявил, что Сарра Беккер убита не Мироновичем, а его, француза, рукою... В доказательство своего преступления он сочинил целый роман с безнадежною любовью, компрометирующими письмами и проч. Признание это сделано с целью “получить громкую известность”. Губа у француза не дура, ибо известность хорошая вещь, – но почему он избрал именно убийство Сарры Беккер? Почему он не пробежался нагишом по Кузнецкому, почему не пишет стихов в “Волне”, почему не подрался с Лентовским? Все это дало бы ему известность помимо квартала и допроса у следователя... Впрочем, у всякого барона своя фантазия и всякий по-своему с ума сходит... Так, известный секретарь “Современных известий”, г. Орлов, на своих визитных карточках пишет: “Литератор и публицист при *Salon des Varietes*”. Другой психопат, известный “поставщик балов, вечеров и маскарадов – оптом и в розницу”, г. Александров, желая прославиться, хватил “по двадцать пятому декабря” упомянутого г. Орлова, не убоившись даже его внушительных карточек. Известность получилась громкая... Третий психопат, г. Мансфельд, помешанный на собирании коллекций, скупает для своей “Радуги” драмы и трагедии... Купил сумбатовского “Мужа знаменитости”, имеет уже “в портфеле редакции” десяток новых невежинских пьес, купил у себя свои собственные пьесы и публикует во всех газетах, что эти покупки в 1885 г. будут напечатаны в “Радуге”. Лучшего способа отвадить от себя подписчиков и выдумать нельзя, но помешательство все-таки интересное и для драматургов выгодное... Вообще много в Москве психопатов, так много, что здоровых людей приходится теперь искать с огнем или с городовыми...» [Чехов, С., т. 16, с. 137].

Более “высокие” чеховские герои-интеллигенты в таком окружении испытывали постоянное чувство раздражения от ощущения “ложи”, “фальши” и “пошлости”, от чуждой им жизни, от которой некуда деться. Психология этих людей стала предметом специального чеховского исследования в ряде рассказов и в пьесах.

Так, герой рассказа “У знакомых” (1898 г.) Подгорин, адвокат из разночинцев, испытывает бессознательное раздражение против давних хороших знакомых-дворян, владельцев разорившейся усадьбы. Нараставшее на протяжении всего вечера, оно прорвалось в обвинении: “Ну что вы прикажете делать с человеком, который наделал массу зла, а потом рыдает?.. Прекрасно, пусть я вас не понимаю, только, пожалуйста, не рыдайте. Это противно... Посмотрите на себя в зеркало... вы уже немолодой человек, скоро будете стары, пора же наконец одуматься, отдать себе хоть какой-нибудь отчет, кто вы и что вы. Всю жизнь ничего не делать, всю жизнь эта праздная ребяческая болтовня, ломанье, кривлянье – неужели у вас у самого голова еще не закружилась и не надоело так жить? Тяжело с вами! Скучно с вами до одурения!” [Чехов, С., т. 13, с. 20].

В еще более удручающих случаях мир и окружающие люди не просто вызывали раздражение, а воспринимались героем как что-то страшное, опасное – вплоть до мании Ивана Дмитриевича из “Палаты № 6”: “Его всегда тянуло к людям, но, благодаря своему раздражительному характеру и мнительности, он ни с кем близко не сходил и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, го-

воря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными... О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он все сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь..." [Чехов, С., т. 8, с. 76]. Примеров того, что, по мнению героев Чехова, их окружает бессмысленная, примитивная атмосфера, великое множество.

Жизнь разночинец проводит в постоянном труде, добывая кусок хлеба. Утопические представления 1860-х гг. о бескорыстном "служении" в 1880–1890-е гг. значительно потускнели, труд стал бессмысленным, возникло чувство утомления, хотя в обществе еще жила память, пусть и бессознательная, о работе на благо общества. Потому настоящее заполнено непрерывным и постоянным, ставшим привычкой трудом: "А минут через десять он (Подгорин. – Л.Б.) уже сидел за столом и работал и уже не думал о Кузьминках" [Чехов, С., т. 10, с. 23]. К потере Кузьминок он, в отличие от их хозяев, относится не как к трагедии, а как к возможности наконец-то начать не праздную, а нормальную "рабочую" жизнь: "Мне кажется, вы слишком мрачно смотрите, – сказал Подгорин. – Все обойдется. Ваш муж будет служить, вы войдете в новую колею, будете жить по-новому" [Чехов, С., т. 10, с. 11]. Но труд этот – не понятно во имя чего, разве что во имя заработка, скудного или не очень, но главное, – не дающего ощущения смысла.

Жизнь проходит мимо, возникает ощущение нереальности, зыбкости сегодняшнего дня, неумение ощутить себя в настоящем, и как следствие – неумение быть счастливым. Все это приводит к ранней утомленности, душевной усталости. Не случайна такая деталь в воспоминаниях И. Щеглова: Чехов рассказывал ему в 1889 г. о замысле драматического этюда "В корчме" и, характеризуя героя, подчеркнул: "лицо интеллигентное, утомленное" [Щеглов, 1905, стлб. 255].

Отсюда у разночинца и двойственное отношение к прошлому: с одной стороны, это ощущение, что счастье было возможно только в прошлом, в воспоминаниях, с другой – возникает постоянный мотив загубленной молодости, бесполезно прожитой, и постоянная мечта о достойной, осмысленной человеческой жизни, о борьбе, о стойкости, о любви [Корман, 1978]. Отсюда же и двойственное представление о будущем: понимание того, что счастливое будущее для разночинца лично невозможно, и в то же время, утопические надежды на возможное счастье как на чудо. Разночинец "платит судьбе" не только ранней утомленностью, но и ранней холодностью, ранней старостью – и это определяет его субъективное переживание времени.

Показательно состояние Огнева в рассказе "Верочка" – одного из рассказов, исследующих психологию интеллигента. Герой впервые ощутил счастье настоящего, увидев вечернюю природу конца лета – то, что он раньше, в Петербурге, никогда не видел: "Не хочется уезжать в такую хорошую погоду! Вечер настоящий романтический, с луной, с тишиной и со всеми онерами. Знаете что, Вера Гавриловна? Живу я на свете 29 лет, но у меня в жизни ни разу романа не было. Во всю жизнь ни одной романтической истории, так что с randevу, с аллеями вздохов и поцелуями я знаком только понаслышке. Ненормально! В городе, когда сидишь у себя в номере, не замечаешь этого пробела, но тут, на свежем воздухе, он сильно чувствуется... Как-то обидно делается!.. И вдруг лет через десять мы встретимся, – говорил он. – Какие мы тогда будем? Вы будете уже почтенною матерью семейства, а я автором какого-нибудь почтенного, никому не нужного статистического сборника, толстого, как сорок тысяч сборников. Встретимся и вспомняем старину... Теперь мы чувствуем настоящее, оно нас наполняет и волнует, а тогда, при встрече, мы уж не будем помнить ни числа, ни месяца, ни даже года, когда виделись в последний раз на этом мостике..." [Чехов, С., т. 6, с. 73, 75].

Но и тут он оказался неспособен раствориться, слиться с миром, его "Я" расщеплено, неспособно к гармонии: «И лес, и туманные клочья, и черные канавы по бокам дороги, казалось, притихли, слушая ее, а в душе Огнева происходило что-то нехорошее и странное... Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум, или сказа-

лась неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить, но только восторги и страдания Веры казались ему приторными, несерьезными, и в то же время чувство возмущалось в нем и шептало, что все, что он видит и слышит теперь, с точки зрения природы и личного счастья, серьезнее всяких статистик, книг, истин... И он злился и винил себя, хотя и не понимал, в чем именно заключается вина его... “Ах, да нельзя же насильно полюбить! – убеждал он себя и в то же время думал: – Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под 30!.. О, собачья старость! Старость в 30 лет!”... Он чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть его молодости и что минуты, которые он так бесплодно пережил, уже более не повторятся». Причину своей ранней холодности Огнев видит как раз в том, на что указывалось выше: “Ему хотелось найти причину своей странной холодности. Что она лежала не вне, а в нем самом, для него было ясно. Искренно сознался он перед собой, что это не рассудочная холодность, которою так часто хвастают умные люди, не холодность себялюбивого глупца, а просто бессилие души, неспособность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба, номерной бессемейной жизни” [Чехов, С., т. 6, с. 78, 79, 80].

Воспитанные на традициях 1860-х гг. еще долго упрекали Чехова в “распространении пессимизма и отчаяния”: “Он говорит собой: молодость, не трать слишком твои силы и не берись ни за что горячо, не увлекайся никаким делом, брось горячие порывы, горячие стремления, не отдавайся ничему весь – беззаветно и бескорыстно, а вечно примеривай – под силу ли ноша, береги свои косточки – а то посмотри на меня – вот что станет с тобой и чем ты кончишь... какой горький упрек Вам, какое негодование и горе кипит против Вас в душе... Когда у человека много сил, горячей энергии, страстное желание отдать всего себя на служение чему-нибудь великому и полезному, – пусть он бросится в это дело, отдаст ему все свои силы. Ну и пусть надломится и погибнет. Все-таки он сам счастливее будет и пользы принесет больше”, – писала одна курсистка Чехову еще в 1880-е гг. [Летопись... 2004, с. 45].

И все же чеховский диагноз своему времени был правильным. Как писал Оболенский, читая Чехова, пугаешься за общую жизнь. Потому многие считают его пессимистом, поэтом безнадежности и разочарования, и это может довести до полного отчаяния. Однако чтобы улучшить жизнь, необходимо иметь идеалы, верить в них и в свои силы; эту веру и принес М. Горький, пришедший на смену Чехову [Оболенский, 1903, с. 35, 46].

Вокруг нас – бесконечное разнообразие психологических типов, но каждая эпоха способствует распространению того из них, который определяет ее “лицо”. Эпоха Чехова способствовала распространению такого типа личности, для которого характерны страх перед жизнью, и как следствие – защита, стремление к изоляции и отъединению, поглощенность внутренней реальностью, расщепление “Я”, невозможность принять мир в его враждебном культурном состоянии. Человек, защищаясь от реальности, уходит в мир иллюзий (как герои чеховских пьес), не способен любить (хотя страстно мечтает о любви), нуждается в одиночестве (хотя мечтает о понимающей душе), подменяет чувства мыслями, для него характерен недостаток сопереживания – неумение разделить радость и печаль другого, понять обиду, прочувствовать не свое, а чужое волнение и беспокойство.

Потому читатель – современник Чехова и чеховский герой-интеллигент – это прежде всего, человек особого психологического типа, о чем писал критик начала XX в. И. Игнатов: “Особенно тянется к Чехову обойденный прежним писателем огромный в массе, мелкий и невидный в отдельности, хмурый обыватель, испытывающий не вполне объяснимую тоску и не могущий сам найти для нее соответственного оправдания. Он, конечно, этот читатель, любит героизм, в особенности изображение героизма. Он преклоняется перед демоном, перед его вызовами миру, перед огромной силой его протестующего духа... Свою расщепленность между существованием действительным и призрачным, свою тоску по тому, чтобы действительное стало при-

зрачным, а воображаемое и смутное – реальным, свою неудовлетворенность и свое право на нее, как и свое право на соединение с сильными и героическими порывами к небу, усыпанному алмазами, – зритель видел в чеховских пьесах, читатель воспринимал в чеховских рассказах” [Игнатов, 1914].

То, что в творчестве Чехова воплотились настроения интеллигенции рубежа XIX и XX вв., было результатом не просто совпадения его мироощущения с настроениями его времени, но и сознательных авторских намерений. Он внимательно читал сотни получаемых им писем. В 1900 г. он писал О. Книппер, что МХТ *должен* ставить только то, что хорошо знает (“Вы должны трактовать современную жизнь, ту самую, которой живет интеллигенция...” [Чехов, П., т. 9. с. 125]), распространяя это требование и на свое творчество. В последние годы жизни Чехову казалось, что он не чувствует современных настроений и теряет внимание публики.

Хотелось бы обратить особое внимание на почти дословное повторение реплик героев “Трех сестер” и “Дяди Вани” и приведенных нами ранее фрагментов критических статей, стихотворений о Чехове и т.п. Читателями и зрителями послечеховского времени слова персонажей воспринимаются и интерпретируются как элементы чеховской поэтики. Для современников же это были *их собственные мечты* и настроения, но прозвучавшие со сцены. “Дядя Ваня”, “Три сестры” и особенно “Вишневый сад” сгущают, концентрируют настроения своего времени до предела, секрет их воздействия на публику, особенно в интерпретации МХТ, в том, что они “возвращают” зрителю со сцены его самого, потрясают тем, что искусство, “иллюзия” могут быть настолько реально воплощены, что грань между искусством и жизнью стирается. Чехов сотворил в своих произведениях мир, абсолютно узнаваемый, тот, в котором жила русская интеллигенция. Так, Ю. Беляев предложил для пьесы “Три сестры” новое жанровое определение – не комедия, не драма, а “серая жизнь на сцене”: «Я был в старом доме незатейливой прямолинейной постройкой, с оригинальным и несколько фантастическим расположением комнат, со множеством уютных уголков и боковушек, с мебелью, крытой дешевой материей с какими-то особенно выпуклыми и неудобными спинками, с часами-кукушкой, с оттоманкой, на которой постоянно валялся кто-нибудь, словом, я был в самом обыкновенном доме, которых немало встретишь в нашей провинциальной жизни и в которых живут такие же незамысловатые люди, живут целыми семьями, рождаются, женятся, умирают, где каждый час отсчитывается однообразным “ку-ку” и где свежему энергичному человеку ни за что не ужиться долее суток» [Беляев, 1901]. А герой романа П. Боборыкина “Однокурсники”, побывав в МХТ на спектакле “Дядя Ваня”, признавался, что старался стряхнуть с себя наваждение, хотел вырваться из жизни, где нет места ничему светлому, никакой неразбитой надежде... Правда на сцене оказалась настолько нестерпимо правдивой, что герою даже стало плохо.

Чехов жил и писал в период колоссального перелома в жизни человечества. И это был не просто перелом в моральном сознании, который принес Серебряный век (когда народническая жертвенность во имя страдающих сменялась индивидуализмом и нищезанятием). Речь идет прежде всего о появлении “массового” человека, а с ним и массовой культуры, об “осреднении” ценностей, нравственных и эстетических и вообще “осреднении” жизни. Жизнь становится более цивилизованной, но одновременно и более примитивной, обыкновенной, бытовой. Пошлость стала повседневностью, и это вызывало ощущение безысходности и полного отчаяния.

Те же процессы происходят и в современном обществе. Немало параллелей между чеховским временем и временем нашим читатель этой статьи мог обнаружить сам: это апатия и оглушение одной части общества; чувство одиночества, обесмысливания жизни из-за обесценивания прежних идеалов, и отчаяние – другой.

Честный и суровый, иногда даже жестокий анализ Чехова позволил ему поставить диагноз своему времени: эпоха стоит на грани катастрофы. Найдется ли в наши дни в русской литературе писатель, который сможет с такой болью и точностью сказать обществу правду о нем?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Басаргин А.* Критические заметки. Разговор об искусстве. Письмо из Петербурга // Московские ведомости. М., 1901. № 65.
- Беляев Ю.* Театр и музыка. Художественный театр // Новое время. СПб., 1901. 3 марта.
- Борев Ю.* Историческое членение (периодизация) литературного процесса // Теория литературы. Т. 4. Литературный процесс. М., 2001.
- Венгеров С.А.* Литературное обозрение // Вестник и библиотека самообразования. 1903., № 33. 14 августа.
- Вердеревская Н.А.* О разночинцах // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 5.
- Гордон Г.* Об одиноких // Новый журнал для всех. СПб., 1909. № 7. Май.
- Игнатов И.* Читатели Чехова // Русские ведомости. СПб., 1914. № 151. 2 июля.
- Корман Б.О.* Лирика Некрасова. Ижевск, 1978.
- Куприн А.И.* Памяти Чехова // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986.
- Лазаревский Б.* Письма об искусстве // Новый журнал для всех. СПб., 1909. № 11. Сентябрь.
- Лейкина-Свирская В.Р.* Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1971.
- Летопись жизни и творчества А.П. Чехова.* Т. 2. М., 2004.
- Малиновский И.* Университет в сочинениях А.П. Чехова. Лекция, прочитанная студентам Томского университета 7 сентября 1904 года // А.П. Чехов в значении русского писателя-художника. Из критической литературы о Чехове. М., 1906.
- Медведский К.П.* Литературные заметки. Убогая сатира // Московские ведомости. М., 1897. № 243. 4 сентября.
- На памятник Чехову.* Стихи и проза. СПб., 1906.
- Новикова М.* А.П. Чехов // Русская быль. 1910.
- Оболенский Л.* Максим Горький и причины его успеха. Опыт параллели с А. Чеховым и Глебом Успенским. Критический этюд. СПб., 1903.
- Овсянко-Куликовский Д.Н.* Наши писатели // Журнал для всех. СПб., 1899. № 2.
- Паперно И.* Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М., 1996.
- Печерская Т.И.* Разночинцы шестидесятых годов XIX века: феномен самосознания в аспекте филологической герменевтики (Мемуары, дневники, письма, беллетристика). Новосибирск, 1999.
- Поэт душевной горечи и грусти* // Астраханский листок. Астрахань, 1914. № 151. 2 июля.
- Провинциальный обзор. Что читает провинция* // Вестник Европы. СПб., 1911. Июнь.
- Русские ведомости.* 1904. № 186, 189, 190 и др.
- Скабичевский А.* Антон Павлович Чехов // Русская мысль. 1905. № 6. Июнь.
- Философов Д.* Быт, событие. Небытие // Юбилейный чеховский сборник. М., 1910.
- Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем. В 30 тт. М., 1974–1983. В дальнейшем обозначение серий: Соч. В 18 т. – С; Письма. В 12 т. – П., затем – номер тома и страницы.
- Чеховский юбилейный сборник.* М., 1910.
- Чулков Г.* Примечания к словам Антона Крайнего о Чехове (Литературная хроника) // Новый путь. СПб., 1904. Май.
- Щеглов И.* Из воспоминаний об Антоне Чехове // Ежемесячные приложения к журналу “Нива” на 1905 г. 1905. № 6.
- Яблоновский С.* За неделю. Читатель говорит // Русское слово. М., 1904. 18 июля.